

Филип Буллок

Конференция, посвященная девяностолетнему юбилею Школы славянских и восточно-европейских исследований:

«К столетию Школы: идеи и проблемы для следующего десятилетия».

Панель «Литература и культура в современной России»

В своем эссе «Как это кажется современнику» (*How It Strikes A Contemporary*)¹ Виржиния Вулф обращается к вечной проблеме того, как читать и оценивать современную литературу. Что делать читателю с современной ему культурой при отсутствии цельного критического взгляда на настоящее? Если согласие относительно литературного канона прошлого возможно, то вопрос о том, что делать с современностью, отнюдь не является простым, когда выдающиеся критики горячо высказывают прямо противоположные мнения по поводу одних и тех же текстов. Более того, Вулф подозревает, что современная литература существует в условиях, отличающихся от тех, которые были определяющими в прошлом: *«Когда-то <...> существовали правила, дисциплина, управлявшая великой республикой читателей таким способом, который теперь неизвестен»* [Woolf 2003: 232].

Филип Буллок
(Philip Bullock)
Лондонский университет,
Великобритания

¹ Впервые опубликовано в *Times Literary Supplement*, 5 апреля 1923 года, а затем включено в измененном виде в *The Common Reader* (1925).

Современный мир, напротив, слишком обширен и фрагментирован, чтобы его можно было охватить; читатель оказывается потеряннным в море противоречивых возможностей:

«Расставленные там и сям обеденные столы современного мира, охота и водоворот разнообразных течений, которые составляют общество наших дней, могут быть подвластны лишь гиганту сказочных размеров. А где же этот очень высокий человек, которого мы имеем право ожидать? У нас есть рецензенты, но нет критика; миллион компетентных и неподкупных полицейских, но нет судьбы. Люди, обладающие вкусом, знаниями и способностями, вечно читают лекции молодым и прославляют мертвецов. Однако слишком частым результатом деятельности их талантливых и предприимчивых перьев является засушивание живых тканей литературы до состояния каркаса из мелких костей» [Ibid: 233–234].

Сравнивая шедевры, написанные между 1800 и 1821 гг., с современной ей литературой, Вулф испытывает некоторый пессимизм:

«У нашего века достаточно предприимчивости; однако, если мы спросим, а где же шедевры, окажется, что пессимисты правы. <...> Это век, неспособный на длительные усилия, захламленный фрагментами, его нельзя всерьез сравнивать с предыдущим веком» [Ibid: 235].

И тем не менее Вулф не лишена оптимизма, а современный мир — своего собственного, особого очарования: *«Жизнь не совсем уж бесцветна. У телефона, прерывающего самые серьезные разговоры и самые весомые замечания, есть какая-то своя романтика»* [Ibid: 236]. Какова бы ни была ценность прошлого, мы не можем отбросить наше собственное время и действительно должны принимать его:

«В настоящем есть что-то, что невозможно обменять, даже если бы нам и предложили на выбор жить в любом из прошедших столетий. И современная литература, со всеми ее несовершенствами, обладает той же самой властью над нами и тем самым очарованием. Она похожа на родственника, которого мы унижаем и ежедневно третируем, но без которого в конце концов не можем обходиться. Она обладает дорогим для нас качеством быть тем, что мы есть, тем, что мы сделали, тем, в чем мы живем, вместо того, чтобы быть чем-то, пусть величественным, однако чуждым нам и созерцаемым извне» [Ibid].

Вулф заканчивает спасительным призывом ко всем критикам:

«Пускай они посмотрят на современную литературу более широко, не столь личностным взглядом и посмотрят действи-

тельно на писателей так, как если бы те были заняты строительством какого-то огромного здания, создаваемого общими усилиями, причем отдельные рабочие отлично могут сохранять свою анонимность. <...> Давайте <....> попросим их взглянуть на прошлое, соотнеся его с будущим; и таким образом проложить путь для грядущих шедевров» [Ibid: 240–241].

Вулф писала в эпоху, балансировавшую между ностальгией и современностью, реализмом и модернизмом, и в ее трудах есть попытка освободиться от груза и представлений викторианской Англии. Вулф напоминает нам — рассматривающим переход от социалистического реализма к постмодернизму, от национальной идентичности к глобализации, от высокой культуры к массовой, от литературоведения к cultural studies — что ситуация, в которой мы существуем, не является новой, и то, что теперь оказывается непреложным прошлым, когда-то было неясным настоящим и неведомым будущим.

То, что эта ее попытка была связана с интересом к русской литературе, не подлежит никакому сомнению, хотя это — само собой разумеется — и выходит за рамки данного эссе. И тем не менее мы можем вкратце напомнить, что ее писательский путь совпал с первыми десятилетиями существования Школы славянских и восточно-европейских исследований, институции, также воздававшей должное значимости настоящего. Это было время больших перемен в британском университетском образовании, когда гуманитарные области, такие как современные иностранные языки, история и английская филология (не говоря уже о социологии и политологии) бросили вызов доминирующему положению греческого и латыни. Школа много выиграла благодаря этим тенденциям, и когда она была основана в октябре 1915 г., она *«должна была включать четыре преподавательские ставки — по русскому и сербскому языкам, славянской литературе и восточно-европейской истории»* [Roberts 1991: 1]. Основание школы было связано и с недавними политическими событиями — не только с Великой войной, но и с проблемой прав малых наций на то, чтобы определять свою собственную судьбу независимо от империй. До сего дня Школа славянских и восточно-европейских исследований обладает тесными связями с политиками, с людьми, ответственными за принятие решений, как в Британии, так и в исследуемых странах, обучая студентов и аспирантов языкам Центральной и Восточной Европы, а также экономике, политологии и истории. Изучение литературы и культуры всегда играло центральную роль в идентичности школы. Не кто иной, как Дмитрий Мирский читал в Школе лекции по русскому языку и литературе с 1922 по 1932 гг. [Smith 2000].

Школа была основана в эпоху великих перемен — в истории, политике, обществе, культуре и гуманитарном знании. Наша собственная эпоха равным образом является эпохой перемен; коллапс Советского Союза, расширение Евросоюза, глобализация, развитие новых технологий — все это преобразило не только социальные науки, но и исследование культуры и даже саму культуру. С этими мыслями и проводилась в октябре 2005 г. конференция, задачей которой было отметить девяностолетие существования Школы и открыть новое здание. Цель конференции, однако, заключалась не столько в том, чтобы оглянуться на те девяносто лет, которые существует школа, сколько в том, чтобы оценить нынешнюю ситуацию и подумать о том, каким может оказаться будущее. Панели проводились в течение двух дней, на них рассматривались столь разные темы, как отношения между Россией, Соединенными Штатами и Евросоюзом, российское здравоохранение, развитие бизнеса и политическая культура в Центральной и Восточной Европе, а также наследие советского прошлого. Для докладов по таким темам, как нынешнее положение русской литературы, меняющаяся роль культуры в российском обществе, тенденции в академических исследованиях литературы и культуры, были приглашены три выступающих, сообщения которых и составили панель «Литература и культура в современной России». Их соображения и идеи отразили то, что изучение русской литературы в Школе славянских и восточно-европейских исследований связано с исследованием других восточно-европейских культур, а кроме того сосуществует с другими, совершенно иными академическими областями в отчетливо междисциплинарном контексте, являющемся необычным для Великобритании.

По его собственным словам, Зиновий Зиник с удовольствием (или же это тяжелый груз?) занимает место *«одновременно писателя и аналитика искусства письма»*¹. Соответственно, его выступление было сделано как презентация в форме анекдота (или это следует называть анекдотом в форме презентации?); напомнив о подобном типе литератора, Зиник заговорил о другой ипостаси русского писателя — рассказчика, а не зрителя, человека, который *«просто хотел быть прозаиком-экспериментатором»*, а не частью большой игры между ЦРУ и КГБ, капиталом и идеологией. Его наблюдения основаны на опыте слышанного в течение последних тридцати лет на улицах Лондона разговорного русского — поначалу языка изгнанников и случайных советских чиновников, а затем новых русских и мафиози. В каждом случае язык конкретных людей стано-

¹ Текст выступления Зиновия Зиника 21 октября 2005 г.

вился иллюстрацией социального типа и репрезентантом конкретной культуры, годным для научного анализа. Противопоставление Зиником «индивидуальности писателя» и академической тенденции накладывать на творчество художника что-то вроде общей исторической или интерпретационной парадигмы, к чему по необходимости стремятся специалисты, является, тем не менее, не столько выражением обиды, оскорбленности, сколько методологическим предостережением. В конце концов, «художник ищет чего-то еще невысказанного»; его интересует потенциал будущего, тогда как ученый имеет дело с тем, что уже произошло. ИмPLICITно исследование современного искусства является качественно иным, чем изучение искусства прошлого; нелишнее напоминание об этой простой истине, а также о власти самого творчества, было (не стоит приписывать это намерение выступавшему) произнесенным вслух выводом доклада Зиника.

Вернемся к научному контексту. Нэнси Конди рассказала о том, что трансформации, пережитые российским обществом и культурой, являются настолько глубокими, что попытки теоретизировать над этой ситуацией в академическом контексте должны оказаться равным образом инновационными; более того, параллельный ряд дисциплинарных тенденций преобразил гуманитарные науки в (западном) академическом мире. После распада социалистических обществ в Восточной Европе и Евразии в 1989–1991 гг. ученые естественно захотели обратиться к исследованию характера культур, которые они изучали; неизбежно с этими культурами начали связывать другие названия — общепринятым словом стало «постсоветский», вместе с такими терминами, как развивающийся рынок и демократия, а также вариациями на темы капитализма; несмотря на разрушение континуальности на терминологическом уровне, основной предпосылкой является то, что и люди, и пространства все еще продолжают существовать. Однако при этом профессор Конди отметила, что вакуум, оставшийся после распада социализма, не просто был заполнен идеологически противоположной, но структурно сходной системой. Скорее два других феномена революционизировали нашу культурную географию. Первый из них является достаточно знакомым, это воздействие технологии, в особенности электронных технологий, на культурное продуцирование и распространение. Электронный поток означает, что ситуацию, в которой существует национальная культура, оказывается трудно проанализировать, а еще труднее прогнозировать культурные перемены. Издательская система становится еще более фрагментированной, а у авторов появляется гораздо больше возможностей вступить в контакт с читателем. Представление о неиз-

менности российской идентичности коллапсирует в условиях «виртуальной культуры», это сопровождается «детерриторизацией» самого российского национального государства, представшего теперь в виде странного гибрида географических и культурных факторов, если не сказать фикций. Массовая миграция означает, что «русская» культура процветает в значительной, если не в большей степени, в Европе, Израиле и Северной Америке, чем на своей предполагаемой родине. В то же время значительная часть российского населения теперь оказывается в странном изгнании, в том месте, которое называется «ближнее зарубежье» (этот аспект российской идентичности маскировался и царским империализмом, и мультикультурным Советским Союзом). Изгнание и эмиграция, конечно, были неизбежными тропами русской культуры двадцатого века, и тем не менее, согласно памятной формулировке профессора Конди, эти слова *«сами по себе находятся в изгнании»*. Это стало причиной недоумения по поводу того, как называть последние пятнадцать лет (или около того) российской истории и культуры; конечно, термин «постсоветский» уже кажется немного стершимся. Может быть, как указала профессор Конди, «русский» теперь является идентичностью диаспоры. Эти культурные и геополитические сдвиги сопровождались и определенным переосмыслением интеллектуальных парадигм в академическом сообществе, даже если, согласно профессору Конди, еще существует «нехватка теоретизирования» по поводу воздействия электронного потока и детерриторизации на исследование русской культуры.

Если Зиновий Зиник обратил наше внимание на притягательность будущего, а Нэнси Конди продемонстрировала проблемы, с которыми сталкивается наблюдатель современности, то Катриона Келли обратилась к наследию прошлого, а точнее к советской эпохе. Говоря во многом о том же, что и профессор Конди (расширение доступности электронных технологий, уход от этнографических моделей в изучении русской культуры и т.д.), профессор Келли обратилась к теме децентрализации (иронический, быть может, термин, учитывая репутацию президента Путина как политического централизатора) одновременно как социальной реальности и проблеме науки. Доминирующей темой этого выступления стал коллапс роли русской интеллигенции. Семиотика была привлекательной и плодотворной дисциплиной в советскую эпоху именно потому, что, как считалось, знаки этой конкретной культуры трудно прочитать. Интеллигенция (диссидентская, партийная или любая другая) занимала привилегированную позицию в создании и интерпретации этих знаков в немалой степени потому, что государство осуществляло особенно значительные

идеологические инвестиции в пропаганду централизованных представлений о культуре и идентичности. Распад этой гегемонической интеллектуальной идентичности ставит проблемы перед теми, кто пытается интерпретировать эту культуру — не в последнюю очередь извне. Ранее Зиновий Зиник уже говорил, что Россия часто служила «подсознанием Запада» (фраза, приписываемая то Энтони Берджессу, то Борису Гройсу); дезинтеграция русской интеллигенции — возможно, конкретного подсознания западных русистов — означает, что этот тип взаимоотношений больше невозможен. Более всего это заметно в развитии cultural studies и междисциплинарности как новых методах постмодернистской науки (как в самом начале отметила профессор Конди). И тем не менее у таких дисциплинарных сдвигов имеются следствия, релевантные не только для изучения настоящего, но и для определения статуса прошлого. Мы легко можем спросить, как наше знание о методологических импликациях исследования современной русской культуры влияет на наше понимание того, что иначе могло бы показаться неизменным, связным, комфортным, а именно прошлого (и не только советского прошлого, но и — в особенности — царского, имперского прошлого). Для некоторых уход советской эпохи означает конец заблуждений, возвращение к вечным ценностям (чье отсутствие в современном мире, более того, является знаком неудачи этого мира, а не указанием на ограниченный характер подобных ценностей). С точки зрения других, появление новых культурных и интеллектуальных идей заставляет нас видеть прошлое столь же гетерогенным и противоречивым, как и настоящее.

Гипотезы и наблюдения трех докладчиков естественно спровоцировали комментарии и соображения аудитории, особенно тех присутствовавших, кто мог выстроить связи с другими темами, затронутыми во время конференции. Несмотря на замечание Зиника о проклятии России быть «подсознанием Запада», было ясно, что некоторые читатели стремятся к ясности, которая помогла бы им пробиться сквозь хаос настоящего. Какие писатели заслуживают того, чтобы их читали? Какие ценности они воплощают? Что является репрезентативным для нынешней эпохи (вспомним тревогу Зиновия Зиника по поводу того, что его читают как типичного представителя, а не как индивидуального творца)? Видимый разрыв между интересами ученых и читателей можно без труда — и напрасно — превратить в предмет пародии, однако здесь затронута важная проблема, а именно: как культурные и дисциплинарные трансформации, отмеченные ранее, должны отражаться на университетском учебном плане. Конечно, те, кто слышал речь, произнесенную писателем Весной Голдсворти в защиту

важности преподавания студентам традиционных ценностей медленного чтения, были поражены — а потенциально ободрены — совсем другим, гораздо более знакомым набором аргументов, которые оказались контрапунктом предупреждению Нэнси Конди о том, что этот знакомый маркер культурной ценности — книга — «*может стать местом утешения*»¹, куда мы можем укрыться от настоящего.

Столь же не бесконфликтными были и другие темы, затронутые на конференции, а именно взаимоотношения между странами и культурами, которые изучаются в Школе. Будучи центром «региональных исследований» по преимуществу, Школа является иллюстрацией одного из наблюдений Нэнси Конди о нынешнем состоянии исследований России, а именно взлета междисциплинарных штудий. Но что случается, когда регион, который изучаешь, перестает существовать, когда вместо этого возникают постмодернистские технологии и детерриториализация? Каковы геополитические и культурные связи, которые определяют, если не объединяют, «славянские и восточно-европейские» страны? Этот важный вопрос был поднят с самого начала юбилейных торжеств в речи президента Чехии Вацлава Клауса. Остроумно и метко Клаус заметил, что «*прилагательное „славянский“ — в нашей части света — не очень употребительно в наши дни*». Сходным образом тенденция говорить о Центральной, а не о Восточной Европе свидетельствует об изменении геополитической идентичности. Относительное отсутствие во время конференции дискуссии о двух острых европейских проблемах — Украине и Белоруссии — просто усилило это ощущение геополитического пробела. Отношение России к этим проблемам является парадоксальным. Конечно, ее культура (в особенности литература) обладает немалым престижем и отбрасывает длинную тень над всей Европой. Более того, нынешние политические процессы в России обычно рассматриваются как возрождение централизованного контроля над (спорной) сферой влияния, контролируемой посредством ядерного потенциала. И все-таки (повторяя заголовок речи Томаша Г. Масарика, произнесенной при основании Школы девяносто лет назад) не является ли Россия теперь — в культурном и политическом смысле — «*малой нацией*» посреди «европейского кризиса» [Masaryk 1915]?

Пер. с англ. Аркадия Блюмбаума

¹ Текст выступления Нэнси Конди 21 октября 2005 г.

Библиография

- Masaryk Th.G.* The Problem of Small Nations in the European Crisis // The Council for the Study of International Relations. S.W., 1915.
- Roberts I.W.* History of the School of Slavonic and East European Studies, 1915–1990. L., 1991.
- Smith G.S.* D.S. Mirsky: A Russian-English Life, 1890–1939. Oxford, 2000.
- Woolf V.* How It Strikes A Contemporary // The Common Reader. L., 2003. Vol. I. P. 231–241.